

С. Н. Сергеев-Ценский

**Пушки выдвигают
(Преображение России - 5)**

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

С. Н. Сергеев-Ценский

Пушки выдвигают (Преображение России - 5) / С. Н. Сергеев-Ценский – М.: Книга по Требованию, 2011. – 182 с.

ISBN 978-5-4241-1918-7

Историко-революционная эпопея «Преображение России» — главный творческий труд Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (1875—1958), монументальное произведение, которое было задумано художником еще в начале его литературной деятельности.

"Преображение России" включает в себя двенадцать романов и три повести, являющиеся совершенно самостоятельными произведениями, объединенными общим названием.

ISBN 978-5-4241-1918-7

© Издание на русском языке, оформление, « YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, « Книга по Требованию», 2011

Сергеев-Ценский Сергей
Пушки выдвигают
(Преображение России - 5)

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский

Преображение России

Эпопея

Пушки выдвигают

Роман

Содержание

Глава первая. - Неудачный сеанс

Глава вторая. - Большое гнездо

Глава третья. - Пролог трагедии

Глава четвертая. - Дела житейские

Глава пятая. - Международное право

Глава шестая. - Затмение

Глава седьмая. - Перед грозой

Глава восьмая. - Испугавшись дождя, прыгнула в воду

Примечания

ГЛАВА ПЕРВАЯ

НЕУДАЧНЫЙ СЕАНС

I

Улицы пели.

Улицы начинали петь с утра, когда нищие стучали палками в рамы окошек и выводили унылыми голосами, как могли жалостней:

- Подайте милостыньки, ради Христа-а.

Нищие проходили медленно, отягощенные годами, мешками, увечьями. У них были облюбованные дома, где им подавали и куда они стучали уверенно. Не во всякое окно можно было стучать палкой, да и население тут было разноплеменное, разное, - это был южный город.

Другое дело зеленщики: в них нуждались одинаково почти все хозяйки. Забота о завтраке, об обеде, - а тут вот они, те самые, о ком думалось.

Походка их была деловая, голоса у них были бодрые, большей частью басовитые, убежденные в прочности своего дела на земле, и выводили они очень старательно:

- Цветна капу-у-уста!.. Огурцы, помидо-о-оры!

Конечно, это были ранние овощи, выращенные в парниках, а не то что на огородах, поэтому зеленщики имели завидно горделивый вид.

Однако неунывающие голоса имели и заливщики калош. Эти, кажется, считали даже своей обязанностью иметь именно заливистые голоса, раз только им приходилось петь:

- За-ли-ва-а-аю старые кало-о-оши!.. Эхх, ста-а-арые калоши залива-а-аю!..

Выигрывали они на том, что преобладал в их пении такой полногласый сам по себе звук, как "а", в котором и торжество, и солнце, и радость.

Пели и точильщики. Правда, почему-то повелось, что точильщики здесь были люди все пожилых лет, и для них явно нелегко было таскать на себе свои точила. Вид они имели чаще всего усталый, голоса тоже, и хотя полезность свою отчетливо сознавали, но особенного старания в пенье не вкладывали, тем более что точило всякому на улице видно. У них выходило гораздо менее вдохновенно, чем у заливщиков калош:

- Точи-ить ножи - но-о-ожницы... бритвы пра-авить!

"Бритвы править" брали они почему-то в терцию ниже, чем "точить ножи ножницы", и смотрели по сторонам не очень внимательно.

Лучшими из подобных уличных певцов были мороженщики.

Должно быть, какой-то особый задор подмывал их, когда они щеголевато проходили по улицам. Они чувствовали себя, вероятно, артистами перед публикой уже потому, что поди-ка кто, попробуй, прогуляйся не с каким-то там точилом на плече или за спиной или и вовсе с дырявыми калошами под мышкой, а с тяжелой, полной мороженого кадучкой на голове, отнюдь не поддерживая эту кадучку рукою, да так пройдишь, чтобы не сбиться с ноги, точно идешь в строю под музыку.

Ты не замухрышка, - на тебе, как полагается, белый фартук, к тебе, как мухи к меду, липнет уличная детвора, на тебя умильно глядят девицы, а ведь под ногами может быть и некстати выдавшийся бульжник на мостовой (нельзя было ходить с мороженым по тротуарам, - полиция запрещала), и кирпич, и разбитая бутылка, и их надобно видеть, чтобы не споткнуться и не уронить наземь свое богатство, и под тяжестью давящей на голову кадучки надобно петь так, чтобы всем, даже и в домах с закрытыми окнами, было хорошо слышно, и как лихой вызов всем этим многочисленным препятствиям взвивались вверх звончайшие теноровые вопли:

- Во-о-от са-а-а-ахарная-я мо-ро-о-о-о-жена-я-я...

И долго и самозабвенно звенело, реяло в воздухе "а-а-а", "о-о-о", "я-я-я", однако певцы не довольствовались этим, им казалось совершенно необходимым закруглить эту призывную восторженную мелодию отрывистыми, как удары барабанов, выкриками:

- Мороз! Мороз! Мороз!

В летний день, когда люди изнывают от зноя и ищут прохлады, неплохо бывает, конечно, напомнить им о морозе.

Мороженщики были виртуозы, и состязаться с ними не могли, конечно, свободские бабы и девки, продававшие вразнос сначала клубнику, а потом черешню, малину, вишню, абрикосы, груши, тем более что и голоса у них почему-то были необработанные, с хрипотой и низкого тембра, и чувствовали они себя с лотками и корзинами не совсем удобно, и ходить по городским улицам не в праздничном наряде и не с полными карманами подсолнуха было не всем им привычно.

Они тянули однообразно:

- Клубнички садов-ой, клуб-нички-и!

Или несколько позже сезона клубники:

- Вишени садовой, ви-и-ишени-и!

Особенного увлечения пением не чувствовалось у них, но все-таки вносили они в общий поток уличных звуков и свою очень заметную струю.

Старьевщики, люди по большей части старые, прижимистые, черствые, тоже пытались петь:

- Ста-арые вещи покупа-аю!

Порядочных голосов ни у кого из них не было, и это пение было, пожалуй, сознательно безрадостное, чтобы показать полное презрение ко всем вообще старым вещам, которые кому же в сущности нужны? Только зря загромаждают комнаты и портят настроение людям, и вот, пожалуй, что ж, так и быть, они, безрадостные певцы, могут от этого хлама избавиться.

И вид у старьевщиков был наигранно скучающий, даже брезгливый, но они не пропускали ни одного дома, умело действуя своими крепкими палками, когда на них накидывались собаки.

Впрочем, тут были еще и другого рода старьевщики - казанские татары, у которых, кроме палок, имелись еще и свои мануфактурно-галантерейные магазины за плечами, чрезвычайно искусно запакованные в широкие холщовые простыни. Коричневые раскосые лица их под высокими черными шапками были совершенно бесстрастными, и пели они без малейшей выразительности, но с серьезностью чрезвычайной:

- Ха-алат - хала-ат!..

Потом шла длинная пауза, потом снова точь-в-точь так же, как и прежде:

- Ха-алат - хала-ат!..

Это надо было понимать так, что они выменивают старые вещи на свою блестящую неподдельной новизной галантерею и мануфактуру.

Трудно перечислить всех певцов, появившихся на улицах этого города летом 1914 года.

Но, кроме этих певцов-отсебятников, выступали иногда и заправские певцы, целые хоры певцов, торжественно шествовавших по улицам, когда требовалось, например, сопровождать на кладбище тело покойника из богатого дома.

Какое потрясающее "Со-о свя-тymi-и у-по-кой..." могуче колыхалось тогда в воздухе!.. Казалось, непременно должны были слышать его даже и те, за кого просили эти басы, которым явно тесно было между стенами домов, эти тенора, рвущиеся в небо, это духовенство в черных бархатных ризах, украшенных тусклым серебром...

Но пели и команды солдат, когда мерным и звучным шагом шли по улицам. Оставив небеса усопшим, они пели под шаг о земном забористо, лихо, с присвистом, во всю грудь:

Сол-да-тушки, браво-ребятуш-ки,

Где же ва-а-аши жены?

- Наши жены - ружья заряжены,

Вот вам на-а-аши жены!

Солда-тушки, браво-ребятушки,

Где же ва-а-аши сестры?

- Наши сестры - штыки-сабли востры,

Вот вам на-а-аши сестры!

Пели и колокола на всех городских колокольнях в праздники и накануне их. Только посвященные в это дело люди знали, как соперничали между собою мастера своего дела - звонари и сколько тонкости и любви к своему ремеслу они вкладывали в колокольный звон, целыми реками звуков разливавшийся по улицам, густо и упруго.

Но не только пели улицы, они еще и сверкали то здесь, то там, они переливисто играли в гамме то пленительно теплых, то притушенно холодных тонов, - каждый шаг вперед - новое очарование, сколько бы раз ни виделось это раньше.

И пожилой художник Сыромолотов, Алексей Фомич, утром в воскресный день шел по летней улице людного южного города, непосредственно настезь открытый всем встречным лицам, всем звукам, всем красочным пятнам. Шел,

как шпагоглотатель для всего остро бросавшегося в глаза, как борец, чувствующий несокрушимую силу всех своих диковинных мышц.

Он и был еще очень силен, несмотря на довольно большие уже годы (ему шел пятьдесят восьмой). Плечи, как русская печь; широкое лицо в коротко подстриженной русой с сединками бороде, на большой голове мягкая белая панамка, и глубоко сидящие серые глаза смотрят как бы сердито даже, но они просто чрезвычайно внимательны ко всему кругом, чтобы все насухо вобрать, все в себе самом распределить и все навсегда запомнить.

Остановившись перед толстой старой белой акацией около дома с ярко-зелеными ставнями, недавно окрашенными заново и потому блистательными, он так забывчиво-долго смотрел, закинув голову, на ее роскошную крону, на буйную темную зелень обильнейших перистых листьев и потом так любовно гладил дерево по жиливатой темно-коричневой коре, что к нему подошел догадливо человек южного типа и сказал почему-то таинственно:

- Может быть, вам, господин, требуются сухие дрова на кухню, то это я вам могу доставить в самом лучшем виде!

Сыромолотов не понял, о чем он, и поглядел на него с недоумением.

- Что, что? Дрова? - спросил он. - Какие дрова?

- Ну, на кухню вам, - я же это вижу, - повторил догадливый.

Сыромолотов оглядел его всего с головы до ног, отступил даже на шаг, на два, чтобы рассмотреть его еще лучше, потом коротко усмехнулся одним только носом, большим и широким, нисколько не меняя при этом выражения ни губ, ни глаз, и не спеша двинулся дальше.

Это только для равнодушного взгляда улицы - внешний их облик - не менялись из года в год, разве только кучка денежных воротил, затеяв устроить, например, банк взаимного кредита, начинала воздвигать вдруг ни с того ни с сего солидный дом с колоннами коринфского стиля с вычурным фронтоном. Для Сыромолотова же, - художника всем своим существом, - каждый день и каждый час во дню улицы были новы, потому что несравненный художник - солнце - не устал показывать их ему, - только смотри, - все в новом и новом освещении.

И то, что улицы пели, для него был тот же солнечный свет. Он затруднился бы, конечно, объяснить это догадливым людям, но для него самого это была истина, не требующая доказательств. И, когда он заканчивал какую-либо свою картину, он встревоженно вслушивался в нее, - поет ли? Звучит ли? Жива ли настолько, чтобы слышно было ее тем, кто будет на нее смотреть?

Да, он все-таки представлял перед своими картинами кого-то, зрителей, но не мог никак и никогда допустить в этих представлениях, чтобы они были не художники, хотя, поселясь тут несколько лет назад, он отъединился и от художников.

Когда экономка его Марья Гавриловна, простая женщина, ведшая несложное хозяйство в его доме и готовившая ему обед, по свойственному женщинам любопытству, спросила его как-то, осмелев:

- Почему же это все-таки, Алексей Фомич, ни вы никуда в гости, ни к вам никто? - Сыромолотов ответил ей после намеренно длинной паузы:

- Я, Марья Гавриловна, на своем веку решительно все уже слышал, что могут мне сказать люди: зачем же мне ходить к ним или им ко мне?

И тем не менее теперь, в это летнее утро, он шел к людям, хотя и не в гости,

а писать портрет.

Обычно, когда он уходил за город с этюдником и черным зонтом, он говорил Марье Гавриловне: "Иду на натуру". Так же точно он сказал ей и теперь и сказал вполне точно, именно то, что думал: он шел "на натуру", хотя за портрет должен был получить немалые деньги.

Отъединившись от людей, Сыромолотов рассчитал, что его наличных средств при скромном образе жизни должно ему хватить надолго, почему в заработке он не нуждался. Он действительно чувствовал себя в это утро так, как будто шел "на натуру", тем более что "натура" эта не могла прийти к нему в мастерскую: почти не владела ногами, сидела в кресле, прощалась с жизнью.

И поскольку сам Сыромолотов был силен и крепок и всеми порами своими впитывал солнце, разбросанное кругом него, он шел, испытывая знакомую художникам жадность к тому, что вот-вот должно потухнуть.

Чтобы понять это, нужно видеть, как художники пишут закат с природы, как широки у них в это время глаза, как торопятся их кисти, как напряжены их тела, подавшиеся вперед, туда, где догорает заря, где вот-вот начнут пепелиться облака, на которые пока смотреть больно, до того они ярки, туда, где совершается волшебство, на которое вот-вот опустится занавес... Со стороны глядя на них, на художников, в это время, можно подумать, что они сумасшедшие, а они только ловцы солнца.

И здесь, на улицах, Сыромолотов не просто смотрел на все кругом, - он вбирал, он впитывал в себя то, что мелькало и исчезало, сверкало и гасло, чтобы никогда уж не повториться больше.

Вот чей-то беленький ребенок-двухлетка, чинно сидящий на охряной доске крылечка, вскинул на него ясные глазенки и сказал протяжно:

- Дя-дя!

- Совершенно верно, - отозвался на это Сыромолотов. - Тетей еще никто не называл.

И, улыбаясь, погладил ребенка по головке, следя в то же время, как в мягкие голубые тени прятались его пухлые пышущие щеки.

Колченогая серая, с красноватыми прихотливыми крапинками, лошадь водовоза-грека тащила зеленую бочку, полную воды, и вода эта веселой струйкой прыдала вверх на каждой выбоине мостовой и потом растекалась по бочке, поблескивая. Лошадь была старая, явно недовольная своим делом: она держала голову вниз и смотрела только на гладко укатанные камни. Камни однообразно звякали под ее подковами; двуколка тарыхтела; грек-водовоз, темно-бурый, чернородый, ел на ходу селедку, держа ее за голову и хвост.

Около киоска, где продавались фруктовые воды, стояло молодое веселье. Сюда подошли пить воду две молоденькие девицы, обе в розовых платьях одинакового покроя, - сестры или подруги, - и у каждой из них на руках было по маленькому розовому поросенку. Обе держали поросят, как младенцев, закутав их в свои носовые платки так, что высовывались только мордочки и передние ножки. И какие-то смешливые подростки спрашивали бойко:

- Куда вы их тащите? Жарить?

- Ну да, "жарить", - еще чего! - возмутились весело девицы. Воспитывать будем!

- Смотрите же, чтоб они у вас гимназию окончили! - подхватывали подростки,

и казалось, что хохочут вместе с ними даже и две колонки с сияющим сиропом - малиновым и вишневым.

На карнизе одного двухэтажного дома сидело в ряд несколько сизых голубей с рубиновыми глазами, а чуть-чуть поодаль от них стоял один и с большим увлечением гуркотал, раздувая всею перья на шее, будто старался убедить остальных в чем-то необыкновенно важном.

Возле уличного сапожника на углу двух улиц стоял какой-то молодой франт, - без фуражки, жесткие черные волосы ежом, белая рубаша в брюки, синий галстук горошком, одна нога в сандалии, другая босая; франт пресерьезно читал газету, сдвинув брови и выпятив губы, сапожник продергивал драпву в подметку его сандалии. Сапожник был в синих очках, длинноволосый, с ремешком на голове.

Девочка лет трех, бойко ступая по каменным плитам тротуара крохотными запыленными ножонками, тащила лисицу из папье-маше, к которой кто-то прицепил всамделишный лисий хвост - пушистый, рыжий. Кукла была большая глаза из стекла янтарного цвета, уши торчком, - девочка была в упоении. Она никого не видела кругом, - видела только лисью мордочку, глядела только в янтарные, совсем как живые глаза... Прижавшись к ней всею грудкой, целовала то глаза, то уши, подбирала хвост, волочившийся по тротуару, и спешила-спешила дотащить ее, видимо, к себе домой, сквозь густой лес ног встречных дядей и тетей. А за нею, шагах в пяти, подталкивая один другого и не сводя с нее глаз, шли двое мальчуганов лет по десяти, оба плутоватые, продувные, что-то затеявшие...

Сыромолотов даже остановился посмотреть, что они сделают дальше, но улица была людная, они затерялись в ней, маленькие, их закрыли другие цветные пятна.

А из-за угла поперечной улицы, которую нужно было пересечь Сыромолотову, давая гудки, выкатился грузовик с черепицей; боковины грузовика - темно-зеленые, черепица - новая, оранжево-красная, а на черепице спал, раскачиваясь, но не просыпаясь, рабочий в синей рубаше и с копною волос цвета спелой пшеницы.

Сыромолотов остановился, чтобы запомнить и это и представить как деталь большой картины на стене своей мастерской.

Его знали в лицо многие в городе, но всем было известно и то, что он не выносит, когда с ним заговаривают. Поэтому и теперь такие встречные только раскланивались с ним, причем он слегка брался за панаму и делал вид, что чрезвычайно спешит.

Но вот неожиданно для него прямо перед ним остановилась девушка лет девятнадцати, в какой-то кружевной, очень легкой на вид шляпке, похожей на ночной чепчик, и в белой, по-летнему просторной блузке, и он никуда не свернул, а тоже остановился, вопросительно подняв брови.

Никогда раньше не приходилось ему видеть ее, поэтому он и на нее смотрел несколько секунд привычным для себя вбирающим взглядом, как на только что проехавший грузовик с черепицей, она же сказала радостно:

- Я шла к вам и вдруг вас встретила, какая мне удача!

- Гм... Удача? - усомнился он.

- Как же не удача? То я обеспокоила бы вас дома, а то вот могу вам сказать и

здесь, - нисколько не смутилась девушка.

Он же спросил хмуро:

- Что же такое сказать?

Он пытался догадаться, что такое могла сказать ему эта в шляпке-чепчике, и в то же время вглядывался в нее, как в "натуру", оценивающими глазами: в ее круглое свежее лицо, слегка загоревшее, в ее белую открытую шею, в широкий, мужского склада, лоб.

- Видите ли, дело вот в чем, - зашпешила она, слегка понизив голос и оглянувшись. - Мы собираем средства для отправки ссыльным и заключенным... политическим.

- А-а... "Мы" - это кто же именно? - спросил он, отмечая про себя, что у нее почти не заметно бровей над серыми круглыми глазами.

- "Мы" - это студенты и курсистки, - объяснила она, слегка усмехнувшись тому, что он спрашивает. - И вот мы решили обратиться к вам...

- Гм... - отозвался на это он до того неопределенно, что она поспешила закончить:

- Может быть, вы дадите нам какой-нибудь ваш рисунок, этюд или там вообще, что найдете возможным.

- И?... И что вы будете с этим делать тогда, с этюдом, с рисунком? Кому именно пошлете - ссыльным или заключенным? - в полном недоумении спросил Сыромолотов.

- Нет, куда не пошлем, - улыбнулась она, и лицо ее стало красивым, мы думаем устроить лотерею, кому повезет, тому и достанется. Мы уверены, что это даст нам много!

- Будто? - спросил он снова неопределенно, став так, чтобы разглядеть ее профиль.

- Конечно же, всякий захочет попытать счастья приобрести ваш этюд за какой-нибудь рубль, - объяснила девушка.

- Вы здешняя или приезжая? Я что-то не видел здесь вас раньше, - сказал он, уловив ее профиль.

- Разумеется, я здешняя, - здесь и в гимназии была, а теперь я на Бестужевских курсах, в Петербурге. И вы, может быть, даже знаете моего дедушку, - сказала она простодушно.

- Гм... дедушку? Может быть, если вы скажете мне его фамилию.

- Невредимов... И моя фамилия тоже Невредимова.

Девушка ждала, что он скажет на это, но он покачал отрицательно головой.

- Знать в смысле личного знакомства? Нет, не пришлось познакомиться. А фамилию эту я слышал.

- Слышали? Ну вот. Его весь город знает, - просияла девушка, а Сыромолотов, оглядев ее всю с головы до ног (она оказалась одного с ним роста), сказал подчёркнуто:

- Значит, с благотворительной целью вы у меня просите что-нибудь - так я вас понял?

- Вот именно, с благотворительной целью, - повторила она.

- В таком случае, если вы ко мне шли, значит, знаете, где мой дом...

- Разумеется, я знаю, - перебила она.

- Тогда что же... Гм... Так тому и быть: я что-нибудь выберу, а вы зайдите.

- Мы все будем очень, очень рады. Когда зайти? Сегодня?
- Сегодня? Гм... Как вам сказать? Сегодня я долго не буду дома... Впрочем, если к вечеру, то можете и сегодня, но-о... если вы не особенно торопитесь...
- Нет, я могу и завтра, если вам некогда сегодня, - поспешно вставила она.
- Да, завтра во всяком случае будет лучше.
- Хорошо. Во сколько часов?
- Да вот хотя бы в такое время, как сейчас.
- Сейчас (она быстро взглянула на часы-браслетку на своей оголенной до локтя руке) двадцать минут одиннадцатого.
- Ого! А к половине одиннадцатого мне нужно быть в одном месте...
И Сыромолотов взялся за панаму, она же сказала сконфуженно:
- Я вас задержала - простите! Значит, завтра в это время я к вам зайду. До свидания!

Сыромолотов только слегка кивнул ей и пошел дальше.

II

Все, что нужно было ему для работы, - холст на подрамнике, краски, кисти, - было уже в доме, где жила "натура", так как накануне, в субботу, состоялся уже первый сеанс. Ничто не отягощало Сыромолотова, когда он шел теперь, и каждому встречному могло показаться, что он вышел просто на прогулку.

Отчасти так казалось даже и ему самому, пока он не встретился с курсисткой Невредимовой и не узнал от нее время. Сам он не носил с собою часов, считая, что это для него зачем же? Спешить ему не приходилось, да и теперь он не стремился прийти непременно к половине одиннадцатого в дом богатого немца-колониста Куна; но дом этот был уже теперь совсем близко. Дом двухэтажный, как и другие около него дома, но над крышей, в отличку от других, на обоих углах зачем-то прилепилось по стрельчатой башенке: готика! Крыт он был черепицей, но черепица тут вообще предпочиталась железу; ярко-бел снаружи, как и другие дома; фундамент и карниз первого этажа аспидного цвета; парадного хода не имел - входить нужно было в калитку, дернув для этого ручку звонка. На звонок отзывалась лаем цепная овчарка, потом отворялась калитка, и навтыяжку стоял около нее высокий седобородый дворник. Так было в субботу, и Сыромолотов был уверен, что так же точно будет и в воскресенье, и не ошибся в этом.

Этот дворник, в розовой праздничной рубашке, подпоясанной узким ремненным поясом, не мог не привлечь внимания художника - он был живописный старик, и Сыромолотов очень охотно посадил бы в кресло перед собою его, пока еще крепкого, бывшего солдата-гвардейца, но писать нужно было другого старика, немощного, бритого, с свинцовыми тусклыми глазами, к которому совсем не лежало сердце.

И во время первого сеанса и потом у себя дома Сыромолотов думал над лицом и руками старого Куна: как поставить в комнате кресло, чтобы солнце заиграло на морщинах лица, на выпуклых синих венах рук и тусклый взгляд сделало живым и острым?

Медленно идя по певучим улицам, через край щедро озаренным, он как будто нес в себе подспудную мысль как можно глубже пропитаться солнцем и звуками, чтобы внести их с собою в бессолнечность и тишину гостиной Куна.

Сильный свет беспокоил старика: он морщился, жмурил глаза, жевал недовольно бескровными губами; но в то же время свет был необходим для художни-